

## **Рак, Спартак и Пастернак (Отступление десятое)**

О Пастернаке я тогда мало что слышал, вернее, не знал ничего, что не делает мне, естественно, чести, но и особенно не огорчает. По своему складу я человек к поэзии рав-

нодушный. Как и все, я почитал Пушкина с Лермонтовым, любил Есенина, учил в школе Маяковского, знал Симонова, Маршака и Твардовского, а о Пастернаке помню только, как передавали из уст в уста, что впервые за много лет выходит книжка его стихов в «Библиотеке поэта» и надо ее обязательно купить. Но купить – еще не значило прочитать.

В 1958 году меня занимали дела от поэзии далекие и, на мой взгляд, более важные. То лето и осень я провел на ракетном полигоне в Капустинном Яру, неподалеку от тогда еще Сталинграда. Для меня невозможно сравнить огненную феерию старта ракеты со стихом, даже самым лучшим.

Трагическая история Бориса Пастернака и происходившее вокруг него описано многократно и многокрасочно. Еще бы! Главные ее участники, с самого начала до самого конца, писатели, а кому же писать, если не им, особенно о себе, да еще когда так хочется оправдаться, а оправдываться есть в чем.

Добавить к уже написанному о «Докторе Живаго» мне почти нечего, с мая по конец декабря 1958 года в Москву я приезжал раз или два и на совсем короткое время. О копошении вокруг «Доктора Живаго» я что-то слышал, но урывками, и никакого значения услышанному не придавал. Но не писать я тоже не могу. История и для отца, и для всех нас вышла уж очень неприглядная. Я не хочу оправдывать отца, хотя многое прозвучит именно оправданием.

Дальнейшее изложение фактов базируется почти исключительно на чужих свидетельствах и чужих мнениях.

Что знал отец, а чего не знал? По большому счету это не так уж важно. Первое лицо в государстве, независимо ни от чего, отвечает за все.

Итак, по порядку. Как известно, Борис Леонидович Пастернак закончил «Доктора Живаго» в 1955 году. Над рукописью он работал более десяти лет и, судя по воспоминаниям знакомых, она ему надоела. 10 мая он пожаловался Чуковскому: «Роман выходит банальный, плохой – да, да, – но надо же кончить... Кончу роман и примусь за книгу стихов, свой однотомник». Чуковский отметил, что «...роман довел его до изнеможения... Долго Пастернак сохранял юношеский, студенческий вид, а теперь это седой старичок, присыпанный пеплом».

Скорее всего, Пастернак играл, желая таким образом подвести собеседника к разговору о романе. Не исключено, что он на самом деле устал. Ни Чуковский, ни сам Пастернак тогда и не подозревали, что этот роман принесет автору мировую славу.

Пока же Пастернак отнес один экземпляр рукописи в «Новый мир» Симонову, так как в еще 1946 году, только приступив к «Доктору», он заключил договор с журналом и получил аванс, другой отправил в издательство «Художественная литература». Близко знавшая Симонова актриса Татьяна Окуневская свидетельствует, что Симонов Пастернака откровенно не любил. Пастернак платил ему той же монетой. Он ревновал Симонова к его оглушительной, шедшей от сердца народной, славе. Все повторяли наизусть симоновское «Жди меня», а «гениальные» строки Пастернака знала, и то нетвердо, кучка эстетов. Вот он и «выделял неприязню» Симонова из всех прочих советских поэтов.

Неудивительно, что Симонов рукопись отверг. Конечно, по оценкам того времени «Доктор Живаго» казался непроходным, но не боялся Симонов непроходных произведений, напечатал же он в 1956 году «Не хлебом единым» Дудинцева. Он же протолкнул в 1968 году абсолютно непроходной роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Нравившиеся ему произведения Симонов пробивал, несмотря на все выставлявшиеся цензурой препоны.

Пожелай Симонов, и у Пастернака все могло бы сложиться по-иному. Он мог поставить роман в очередной номер своего «Нового мира» и дальше действовать по обстоятельствам. Он мог попытаться «решить вопрос» в отделах ЦК – там его знали и к нему прислушивались. Он мог, наконец, попроситься на прием к Хрущеву, и тот бы его, безусловно, принял. Он мог, сопроводив своим письмом и своими оценками литературных достоинств, передать руко-

пись романа помощнику отца Владимиру Лебедеву. Так смогли напечатать «Ивана Денисовича» Александра Солженицына.

Симонов просто не захотел публиковать в своем журнале Бориса Пастернака, вернул рукопись «Доктора Живаго» автору и больше о ней не вспоминал. «Худлит» тоже молчал. Дела там продвигались куда медленнее, чем в журналах. И абсолютно «проходные» авторы, не то что «сомнительный» Пастернак, порой выстаивали в очереди годами.

Как-то много позже, уже после отставки отца, я принес ему изданный за границей томик «Доктора Живаго». Отец читал его долго, с натугой, до конца не дочитал.

Книга ему показалась скучноватой, язык чересчур вычурным, но особой крамолы он в романе не нашел.

– Жаль, что я не прочитал книгу тогда, – сказал мне отец, – не за что ее запрещать. Напрасно такую бучу подняли.

«Нельзя полицейскими методами выносить приговоры творческим людям, – записал он в воспоминаниях. – Что особенного произошло бы, если бы “Доктора Живаго” опубликовали тогда же? Да ничего, я уверен! Мне возразят: “Поздно ты спохватился”. Да, поздно, но лучше, поздно, чем никогда. Не надо было мне поддерживать в таких вопросах Сулова. Пусть признание автора зависит от читателя. А получилось по-другому: автор трудился, его признали во всем мире, а в СССР административными мерами запрещают...»

Поэт Константин Ваншенкин тоже прочитал роман Пастернака уже задним числом, по его мнению, «опубликуй “Новый мир” роман тогда, большинство подписчиков не дочитали бы его до конца. Помимо прекрасных стихов, подаренных автором своему герою, глубоко запали, запомнились не сюжетные линии, а картины Москвы, уральского имения, остановившегося на перегоне поезда, звуки дальней стрельбы, ощущение смутной, нарастающей тревоги».

Конечно, что ни человек, то и мнение, но, повторяю, обратись тогда Симонов к отцу...

Не дожидаясь ответа издателей, Пастернак читал отрывки из «Доктора Живаго» друзьям и знакомым. Так поступали и поступают все писатели. Одним роман нравился, другим не очень. «Я люблю некоторые его стихотворения, но не люблю иных его переводов, и не люблю его романа “Доктор Живаго”, – записал в дневнике Корней Чуковский. Роман показался ему «посторонним, сбивчивым, далеким от бытия, и слишком многое не вызывало во мне никакого участия».

А Константин Федин называл роман гениальным. В своих дневниках Корней Иванович Чуковский приводит его слова о «Докторе Живаго»: «Чрезвычайно эгоцентрический, гордый, сатанински надменный, изысканно простой и, в тоже время, насквозь книжный – автобиография писателя Пастернака». «Федин говорил о романе вдохновенно, ходя по комнате, размахивая руками – очень тонко и пронизательно – я залюбовался им, сколько в нем душевного жара», – вспоминает Корней Иванович.

В мае 1956 года по московскому радио прошла передача о скором издании «Доктора Живаго», правда на итальянском языке. Без санкции властей ничего подобного в те годы не происходило. Несколькими днями ранее на одном из чтений романа в Переделкино оказался итальянский коммунист и сотрудник радиовещания Министерства культуры СССР Серджио Д'Анджело. По совместительству он подвизался в качестве литературного агента тоже коммуниста и коммунистического издателя из Милана Джованни Фельтринелли. Гости наперебой хвалили автора, кто искренне, а кто потому, что так принято. В конце концов, по свидетельству жены Пастернака Зинаиды Николаевны, «все перепились и начали клясться друг другу в любви», и вот тут-то Серджио заполучил рукопись.

Тем временем «дело» доктора Живаго кочевало по инстанциям. В «Худлите» его ни принять, ни отвергнуть не отважились, решили «посоветоваться» со своим литературным

начальством. Те перекинули вопрос ступенью выше, оттуда – еще выше, и наконец он оказался в Отделе культуры ЦК.

В «крамольности» романа не сомневались ни ортодоксы-идеологи из ЦК, ни мыслящие в ними в унисон писатели-сталинисты. Из ЦК запросили мнение Союза писателей. Пространный ответ, в котором был охаян «Доктор Живаго», подписал председатель СП Константин Федин, друг и соратник Пастернака по литературному объединению времен революции «Серрапионовы братья». «Советской власти не убудет от злобных нападок Пастернака, – говорится в письме. – Главное, что роман слаб художественно. За границей за него ухватились для разжигания холодной войны».

Что двигало Фединым, ещё недавно отзывавшимся о романе с восторгом? Зависть? А возможно, они к тому времени рассорились. Скорее всего, Федин струсил и написал то, что, как он считал, от него ожидали.

Поведи Федин себя честнее, прояви настойчивость, все могло повернуться иначе для всех: Пастернака, отца, Советской власти и России.

Отец о романе тогда вообще ничего не знал. Рассказать ему о нем оказалось некому, «Новый мир» рукопись автору вернул, Симонов там уже не работал, переселился в Ташкент. У нового главного редактора «Нового мира» Александра Твардовского хватало своих забот, он заканчивал и никак не мог закончить поэму «За далью даль», да и Пастернак к нему не обращался. Сам Твардовский, судя по тому, что я читал, Пастернака недолюбливал.

После получения заключения Союза писателей «вопрос Пастернака» докладывался секретарям ЦК Шепилову, Суслову, Поспелову, Фурцевой и почему-то занимавшемуся оборонными делами Брежневу. Первым на «Доктора Живого» отреагировал Шепилов. Основываясь на заключении Федина и мнении иных писателей, 31 августа 1956 года он направляет в Президиум ЦК записку, в которой пишет, что «роман Б. Пастернака – злобный пасквиль на СССР. Отдел ЦК КПСС по связям с зарубежными компартиями (его курировал Шепилов) принимает меры, чтобы предотвратить издание этой антисоветской книги за рубежом».

К записке приложена справка Отдела культуры о романе. В ней подтверждалось, что «роман изобилует злобными выпадами против революции как идеи, и против революционера как человека... Все активные деятели революции – люди духовно надломленные, не вполне нормальные, жалкие авантюристы... Роман Б. Пастернака является злостной клеветой на нашу революцию и на всю нашу жизнь. Это не только идейно порочное, но и антисоветское произведение, которое, безусловно, не может быть допущено к печати».

Не знаю, прочитал ли Шепилов «Доктора Живаго», но именно это его заключение сформировало отношение верхов к роману. С него начинается отсчет всех бед, обрушившихся на голову Пастернака. Формулировки Шепилова, став стереотипом, будут кочевать из справки в справку.

Сейчас принято изображать Пастернака смельчаком, эдаким героем-подпольщиком. Но Борис Леонидович и раньше с верхами не конфликтовал, наравне с остальными писал восхваляющие Сталина стихи. Насколько он писал их искренне, не мне судить. А чего стоит его знаменитый телефонный разговор со Сталиным! И теперь Пастернак старался держаться от властей подальше, хотя Хрущева, в отличие от Сталина, поругивал. Время наступило другое, за это уже не сажали. Передав рукопись Фельтринелли, он надеялся, что все утрясется, издадут роман у нас, собираются же напечатать в Москве его стихи. А следом и итальянцы подоспеют.

Возможно, так бы оно и случилось, если бы после доклада о Сталине на XX съезде не произошли октябрьские волнения в Польше, если бы не началось восстание в Венгрии. Бурные события конца 1956 года прервали естественно-спокойное развитие событий, при котором «Доктора Живаго» могли бы опубликовать после некоторых притирок. Теперь же

езде искали крамолу. Худшего времени для Бориса Пастернака и Юрия Живаго и придумать трудно.

Начиная с декабря 1956 года, и без того жесткий, «шепиловский» тон становится еще жестче. К примеру, 1 декабря 1956 года в записке Отдела культуры ЦК КПСС «О некоторых вопросах современной литературы и фактах неправильных настроений среди части писателей» подтверждается, что «Доктор Живаго», по их мнению, «проникнут ненавистью к советскому строю», а его автор, не дав прочесть рукопись итальянским друзьям-коммунистам, «переправил ее в итальянское издательство».

Власти теперь всеми силами старались предотвратить выход «Доктора Живаго» в Италии. Но тщетно. На письма издательства «Художественная литература» Фельтринелли не реагировал, как не отреагировали на просьбу самого Пастернака вернуть рукопись. Игнорировал он и увещевания членов ЦК Итальянской компартии.

Сейчас принято считать, что Пастернак хитрил, отзываться свой роман не хотел, а в договоре, заключенном с итальянским издателем еще в июне 1956 года, предусмотрительно записал, чтобы, «действительными считались только письма, написанные на французском языке».

Свои же протесты он писал по-русски. Вот и не сработало. Думаю, «Доктора Живаго» издали бы с его разрешения, или без его согласия, или даже вопреки его воле. Формальной управы на Фельтринелли не имелось, так как СССР в конвенции по охране авторских прав не участвовал. Возможно, что чисто по-человечески Борису Леонидовичу не раз хотелось прекратить всю эту нервотрепку, вернуться в май 1956-го, когда он мог в свое удовольствие читать роман, обсуждать его под коньячок с друзьями и, надеясь на лучшее, ожидать ответа из «Худлита».

Итак, в августе 1956 года записку Шепилова без рассмотрения приняли к сведению и забыли о ней. Судя по документам, на Президиуме ЦК вопрос о Пастернаке более не обсуждался.

Все варилось в Отделе культуры ЦК, и дело «Доктора Живаго» не поднималось выше уровня Шепилова с Суловым.

Гром грянул 15 ноября 1957 года, когда в Италии наконец-то издали роман. Только тут о «скандале» доложили Хрущеву, сопроводив доклад избранными отрывками и фразами из романа и бранными комментариями к ним. Прочитать роман отцу и в голову не пришло, его занимали дела поважнее, чем какой-то «антисоветский» роман.

«Докладывал мне о нем Сулов, шефствовавший над нашей агитацией и пропагандой. (К тому времени Шепилова, примкнувшего в июне 1957 года к «антипартийной группе Молотова – Маленкова», исключили из Президиума ЦК, и Сулов восстановил свое всевластие в идеологической сфере. – С. Х.) Без Сулова в таких вопросах не могло обойтись, – много лет спустя написал отец. – Он сообщил, что данное произведение плохое, не выдержано в советском духе. В деталях его аргументы не помню, а выдумывать не хочу».

Публикация на Западе сделала «Доктора Живаго» знаменитым. У нас это издание вряд ли кто читал, даже коллеги-писатели. Тогда из-за границы литературу еще не возили. К тому же, на итальянском не очень-то и считаешь. А вот говорили о Пастернаке все, в том числе и те, кто еще вчера и не подозревал о его существовании. Он, по собственной воле или вопреки ей, оказался первым, кто передал не разрешенную цензурой рукопись за рубеж. Раньше о таком не помышляли. Кому охота самому себе подписывать приговор? Теперь же времена изменились, но никто не понимал насколько. После смерти Сталина прошло всего четыре года. Союз писателей – друзья и недруги Пастернака – затаив дыхание ждали, что же произойдет? Арестуют? Сошлют? Или обойдется?

Поначалу, казалось бы, обошлось. На доклад Сулова о романе отец не отреагировал никак, а сам «принимать меры» Михаил Андреевич не решился. Дело спустили на тормозах,

29 ноября заведующий Отделом культуры ЦК Поликарпов даже «посчитал целесообразным организовать встречу иностранных корреспондентов с Пастернаком, но при этом дать ему понять, чтобы при беседах с иностранцами он придерживался той позиции, которую излагал в своих последних письмах, адресованных Фельтринелли». Непосредственный начальник Поликарпова – секретарь ЦК Поспелов с ним согласился. Другими словами, Пастернаку не возбранялось общение с представителями иностранной прессы, его только просили соблюсти достигнутую с ЦК договоренность. Деликатную миссию посредника между Пастернаком и западной прессой поручили Рюрикову, бывшему заместителю заведующего Отделом культуры ЦК, а теперь члену редколлегии издававшегося в Праге международного журнала «Проблемы мира и социализма». 8 января 1958 года Рюриков отрапортовал, что «беседа Б. Пастернака с иностранными корреспондентами проведена», и, судя по всему, проведена «успешно», Борис Леонидович повел себя как надо и говорил, что следовало говорить.

На том «дело Пастернака» заглохло. До осени 1958 года его имя в официальных документах Отдела культуры ЦК почти не упоминается, хотя за этот период «Доктора Живаго» издали в Англии и начали готовить к печати во Франции. Отдел культуры ЦК смирился с тем, что роман ушел на Запад, и в феврале 1958 года даже посчитал «целесообразным прекратить попытки предотвратить издание во Франции книги Б. Пастернака “Доктор Живаго”, так как они не воспрепятствуют изданию книги, а лишь используются издательством и реакционной печатью в целях рекламы». Г. В. Дьяконов, заведующий Секретариатом Отдела культуры ЦК, 22 мая 1958 года написал на документе: «Всеякие акции по предотвращению издания книги Пастернака во Франции прекращены».

Формально дело прикрыли, но скандал вокруг Пастернака не только не утих, но все больше разрастался. Судачили не только писатели, но и вообще «вся Москва». Одни произносили фамилию Пастернака с придыханием, другие – с завистью, третьи – недоброжелательно. О чем и как написана книга, по-прежнему мало кого не интересовало.

О происходившем в Москве мы в Капустинном Яру и не подозревали. У нас – свои проблемы, дела тем летом не заладились, подряд три ракеты «не пошли», военные приостановили испытания, отправили всех домой, в Реутово, разбираться.

В июле я вернулся в Москву. В памяти об истории с Пастернаком почти ничего не удержалось, голова моя была занята другим. Припоминается только, как однажды в жаркий летний день, вернувшись из Лужников с футбольного матча, Аджубей рассказал свежий анекдот: «В Москве сейчас три напасти: рак, Спартак и Пастернак». Отец на эти слова никак не отреагировал, анекдотов он не любил, сам не рассказывал и слушал их без удовольствия. Ни за «Спартак», ни за «Торпедо», ни за Ботвинника, ни за Смыслова он тоже не болел.

Околоспортивные страсти отец считал пустым времяпрепровождением, обворовыванием самого себя. Увлечения футболом или хоккеем он не понимал, но и не противодействовал, только изредка подтрунивал над «болельщиками», тратившими драгоценные часы на переживания, кто кому зафутболит в ворота кожаный мяч или резиновую шайбу, когда вокруг, даже если не считать работы, столько возможностей: театр, книги, природа.

В молодости в Донбассе отец поигрывал во входивший тогда в моду футбол и в традиционные городки. В зрелом возрасте он мог выйти на волейбольную площадку или поиграть в бадминтон, но делал это не в охотку, а за компанию, в силу обстоятельств. К спорту он относился как к физкультурному упражнению, которое врач прописал.

Я тоже остался равнодушным к стадионным баталиям, в шестом классе год «поболел» за киевское «Динамо», мы тогда жили в Киеве и вся школа за него «болела».

Единственным в нашей семье «болельщиком» оказался Алексей Иванович, да и он не столько «болел», сколько ходил на стадион, где в привилегированном секторе трибун регулярно собирался «комсомольский актив» – «стальная когорта» недавно перешедшего в большое ЦК, железного Шурика: кроме самого Шелепина, В. Е. Семичастный, Н. Н. Месяцев

– оба из комсомольского ЦК, Г. Т. Григорян, последовавший за Шелепиным в ЦК КПСС, генеральный директор ТАСС Д. П. Горюнов и конечно сам Аджубей – преемник Горюнова на посту главного редактора «Комсомолки». За игрой они следили не очень внимательно, вершили свои комсомольские дела, обменивались новостями, травили анекдоты.

И Аджубей с Семичастным, а уж несомненно Шелепин, могли бы, если захотели, прочитать «Доктора Живаго» и рассказать о книге отцу. В отличие от меня, они были наслышаны и о романе. Могли, но не захотели. Я их особенно не виню, летом 1958 года «Доктор Живаго» их интересы не затрагивал. Романом занимался Отдел культуры ЦК, Союз писателей, а вклад «комсомольцев» ограничился анекдотом.

Дела у нас в конструкторском бюро начали выправляться, мы разобрались в причинах аварий, и в начале августа 1958 года я вновь уехал на полигон. Предстояли не просто очередные испытания, на 8 – 10 сентября в Капустинном Яру назначили демонстрацию ракетной и авиационной техники высокому начальству, включая самое высокое, во главе с Хрущевым. Всем нам хотелось показать себя с лучшей стороны, превзойти конкурентов. Подготовка к «показу», так назвали это мероприятие, поглотила меня целиком.

Демонстрация прошла удачно, наша крылатая ракета П-5 понравилась всем, что и неудивительно, мы тогда на десятилетия обогнали американцев. Только в 1970-е годы их «Томагавку» удастся повторить то, чего мы добились в 1958 году. После смотра продолжилась рутинная работа: пуски, разбор полетов, протоколы, замечания и новые пуски. К зиме, казалось бы, все наладилось, и тут ракета в который уже раз раскапризничалась. Мы нервничали, писательские проблемы занимали нас не больше, чем Союз писателей – наши. В Москву я вернулся только под самый Новый год, не только пропустив разразившийся вокруг Пастернака скандал, но и вообще напрочь забыв о его существовании.

Тем временем драма «Доктора Живаго» вступила в новую фазу. После выхода английского издания заговорили о присуждении Пастернаку Нобелевской премии по литературе. Слухи о «Нобеле» не только побудили власти к действиям, но и возбудили собратьев-писателей. В ЦК, КГБ и другие инстанции посыпались доносы, анонимные и подписанные весьма значимыми фамилиями. Их авторы требовали призвать Пастернака к ответу, принять меры, обуздать, – мало того что он безнаказанно публикуется за границей, а тут еще «Нобель»!

Далеко не все доносы ложились на стол отцу, но он читал ежедневные сводки «органов» о настроениях в стране, в том числе в среде писателей. В том, что писатели, стараясь привлечь власти на свою сторону, поносят друг друга, нет ничего нового. Еще в XIX веке Фаддей Булгарин, русский журналист и писатель, строчил доносы Третьему отделению на Александра Пушкина. За истекший век ничего не изменилось. Отец не рассказывал о тех, кто именно и как «стучал» на Пастернака, скорее всего, он не знал их имен, но в контексте сталинских репрессий порой вспоминал, как в его бытность на Украине киевские литераторы так же провоцировали какие-то разговоры, а потом «доносили на своих собеседников-писателей».

Ни шатко ни валко протянулось до осени. До последнего Отдел культуры ЦК и Союз писателей надеялись, что все как-нибудь обойдется. Даже накануне вынесения решения Нобелевским комитетом они полагали, не имея к тому никаких серьезных оснований, что премию, если и дадут, то не одному Пастернаку, а на пару с Шолоховым. Правда, готовились и к «худшему»: в случае присуждения премии одному Пастернаку предлагалось побудить его от нее отказаться мирно, без скандала. Поручили уладить это дело соседям поэта по Переделкино, писателям Константину Федину и Всеволоду Иванову.

Надежды не оправдались. Нобелевский комитет проголосовал, и 23 октября 1958 года Борис Пастернак стал Нобелевским лауреатом.

В тот день в Кремле заседал Президиум ЦК КПСС, обсуждали тезисы доклада на XXI съезде КПСС «Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959–1965

годы». По всей видимости, после этого вопроса, интересовавшего присутствовавших куда больше Пастернака, Суслов проинформировал членов Президиума ЦК о Нобелевской премии за «Доктора Живаго». Судя по косвенным свидетельствам, Михаил Андреевич предлагал постараться склонить Пастернака к отказу от премии, а если не получится, то только тогда принимать более решительные меры: опубликовать в «Правде» фельетон, побудить писателей обсудить «личное дело» Пастернака, в крайнем случае – исключить его из Союза писателей. Особого интереса слова Сусллова не вызвали, никто его не поддержал, но никто и не возразил. На фоне увязки будущей пятилетки этот вопрос обсуждения не заслуживал. К тому же, отец устал, последние дни он выверял с Госпланом все до последней цифры, так, чтобы семилетка получилась без натяжек. После повисшей паузы Михаил Андреевич зачитал набросанный впопыхах проект решения. Брать на себя формальную ответственность он не хотел. Проголосовали дружно и, доверив Суслову самому заниматься деталями, пошли дальше по повестке дня. В литературе о Пастернаке приводится текст предложенного Сусловым постановления, признававшего роман «Доктор Живаго» клеветническим, а присуждение ему Нобелевской премии «враждебным к нашей стране актом и орудием международной реакции, направленным на разжигание холодной войны».

Тем временем Переделкино гудело, вокруг дачи Пастернака сгрудились иномарки с ненашими номерами, за ними толпились любопытные, как писатели, так и неписатели. Пастернак сиял, как сияют все новоиспеченные лауреаты, однако на вопросы отвечал осторожно: «Я очень рад полученному известию и ожидаю, что мою радость разделят власть и общественность, нечасто член советского общества удостоивается столь высокой чести». Поколебавшись, Борис Леонидович добавил: «Не исключаю и того, что меня ждут неприятности».

Неприятности начались уже на следующий день. На дачу к Пастернаку «по-соседски» заглянул Константин Федин и озвучил как бы от своего имени спущенное ему из аппарата Сусллова предложение. Пастернак разволновался, сказал, что посоветуется с другим своим соседом и старым приятелем Всеволодом Ивановым. Только тогда он примет решение. Напомню, что Всеволод Иванов, наравне с Фединым, был задействован «в операции». Договорились встретиться ближе к вечеру. В ЦК не сомневались в успехе – Федин с Ивановым не подведут. Однако подвели. В установленное время Пастернак не пришел. Доложили Суслову. Он распорядился действовать.

26 октября в «Правде» появилась статья Дмитрия Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка». Заславского все хорошо знали, он не писал, а излагал спущенные ему сверху, тезисы.

Так дело «Доктора Живаго» из ординарного перешло в категорию экстраординарного. Содержание романа уже окончательно перестало кого-либо интересовать. Решение о присуждении премии автору расценивалось как мотивированное идеологически, а не литературно.

К сожалению, таковы были в то время правила поведения по обе стороны железного занавеса. Мы давали свои Международные Ленинские премии настроенным в нашу пользу общественным деятелям и писателям из стана наших противников, они свои, Нобелевские, тем, кого они у нас считали «не совсем нашими». Пастернак оказался жертвой, «зернышком», если воспользоваться образом Александра Солженицына, между жерновами Востока и Запада. Формулировка Постановления Нобелевского комитета, поясняющая, что премия присуждена не за одного «Доктора Живаго», а и за лирические стихи прошлых лет никого не переубеждала ни у нас, ни у них. Пастернака-лирика знали профессионалы. Автор же «Доктора Живаго» оказался на слуху у всех, читавших роман и не читавших.

Особенно неистовствовали сами писатели. Всякая премия, полученная кем-то другим, возбуждает, а уж Нобелевская!.. И дело не в одной Нобелевской премии. Собратья-писа-

тели не любили Пастернака не только из-за его таланта и его манеры писать, но и за его неуживчивый характер, становившийся с возрастом и вовсе нетерпимым. Пастернак позволял себе, по их мнению, непозволительное. «Он пренебрежительно упоминал Антокольского, Тихонова, Асеева, находил "невинное" удовольствие в сознательном перевираании фамилии поэта-фронтовика Михаила Луконина, называл его то Лутохиным, то Лукошкиным. Поэта Алексея Суркова обозвал "советским чертом, который родился с барабаном на пупке"», и так далее, и тому подобное.

Естественно, значительная часть писателей тоже не испытывала к Пастернаку теплых чувств, и теперь они почувствовали, что настало их время.

27 октября 1958 года собрали расширенное заседание Президиума Правления Союза писателей СССР, совместно с оргкомитетом еще только формировавшегося Союза писателей России и руководством Московской писательской организации. Пригласили и Пастернака, но он прийти отказался.

О писательских разбирательствах я прочитал практически все. Заслуживающими наибольшего доверия мне показались воспоминания поэта Ваншенкина и литературоведа Лазаря Лазарева. В силу обстоятельств они в тех событиях не участвовали, наблюдали происходившее со стороны.

«Почти всю вторую половину октября пятьдесят восьмого года я провел за городом, – пишет Ваншенкин, – вернулся, помню, вечером, и только вошел, как раздался телефонный звонок. Говорил Константин Воронков, секретарь по оргвопросам Союза писателей СССР.

– Константин Яковлевич, завтра в десять утра срочное заседание Правления. – И после короткой паузы: – По поводу Пастернака. (Он сделал ударение на последнем слоге.)

Вестибюль старинного здания так называемого "большого Союза" гудел от голосов, как всегда бывает перед пленумами или съездами. Писателей собрали сюда буквально по тревоге. Съехались и слетелись из разных концов... Говорили обо всем, кроме главного.

На заседании, кроме членов Президиума (тогда это так называлось) Правления Союза писателей, присутствовал заведующий Отделом культуры ЦК КПСС Дмитрий Поликарпов.

Началось обсуждение. Нужно сказать, что в последние годы Пастернак опять стал печататься – в "Знамени", в альманахах "День поэзии", "Литературная Москва". А до этого был большой перерыв. В 1946 году, после известных документов по поводу журналов "Звезда" и "Ленинград", зацепили и Пастернака.

Итак, обсуждение. Мне было странно, что его называют декадентом. Для меня этот термин всегда связан с невероятно далекой, дореволюционной порой. Звучали такие слова, как "провокация", "возня", "клевета", "ненависть".

Самое же удивительное – но тогда почти никому это удивительным не казалось, – что большинство присутствующих не читали роман... Некоторые вообще не могли уяснить смысл происходившего. Один седовласый аксакал воскликнул: "Слушаю, слушаю и никак не могу понять – при чем здесь Швеция?!" Но ведь выступали, осуждали... Объявили короткий перерыв, снова заседание однообразно продолжилось. Вдруг я увидел, что Твардовский поднялся и стал боком протискиваться к выходу. Через минуту-другую следом двинулся поэт Николай Рыленков. Проходя мимо, он легонько потянул меня за руку. Я тоже стал пробираться к дверям. В вестибюле было пустынно и прохладно. Мы закурили, кого-то поджидая. Тут появился из зала Сергей Смирнов. Они явно условились заранее...

Твардовский был мрачен, раздражен. Я сказал, что незнаком с Пастернаком, а Твардовский ответил веско: "Не много потеряли". Твардовский еще сказал: Мы не против самой Нобелевской премии. Если бы ее получил Самуил Яковлевич Маршак, мы бы не возражали...

Минут через двадцать мы вернулись на заседание. Оно тянулось чуть не весь день. Я, понятно, слышал не все выступления. Но двое из тех, кого я услышал, были против исклю-

чения. Твардовский напоминал, что есть мудрая русская пословица по поводу того, сколько раз нужно отмерять и сколько отрезать. А Николай Грибачев, тоже поэт, без обиняков заявил, что исключение Пастернака повредит нам в международном плане...»

Напомню, что Грибачев на сто процентов «партийный» писатель, и если он так говорит, то никаких определенных указаний сверху не поступало.

«Дверь из зала отворилась, и появился главный редактор “Знамени” Вадим Кожевников. Засунув руки в брючные карманы, он с независимым видом сделал круг по вестибюлю и остановился против нас, вернее, против Твардовского.

– Что же ты, Саша, – сказал он своим высоким, как бы дурашливым голосом, – роман-то этот хотел напечатать?

Твардовский ответил почти брезгливо: “Это было до меня, но и прежняя редколлегия не хотела. Ты знаешь”.

– Хотел, хотел.

– А вот ты, коли на то пошло, стихи его напечатал.

– Стихи? – переспросил тот. – Ерунда, пейзажики.

И вдруг из зала вышел Поликарпов. Вид у него был хмурый, озабоченный. Он повернул было направо, вглубь здания, но, увидев нас, подошел и решительно попросил пройти с ним вместе – на несколько минут.

Он пошел впереди нас по узкому коридору, прямо в кабинет, который все еще называли “фадеевским”. Мы вошли, и он тут же, не приглашая садиться, спросил у Твардовского:

– Так нужно исключать или нет?

– Я уже сказал, – ответил Твардовский.

– Вы? – к Сергею Сергеевичу.

– Я того же мнения.

– Вы? – к Рыленкову.

– Дмитрий Алексеевич, он такой лирик! – завосхищался тот...

Я тоже сказал, что против исключения. Твардовский много времени спустя объяснил мне как-то, что Поликарпов приехал в Союз контролировать исключение. Однако, как человек опытный, в какой-то момент засомневался в целесообразности этого акта. Сам он, разумеется, не мог хотя бы приостановить события и отправился звонить Суслову, пославшему его, а по дороге для большей уверенности поинтересовался мнением еще нескольких писателей. Суслова на месте не оказалось, и Поликарпов вернулся в зал, где дело шло к концу».

На этом заседании «отщепенец Пастернак» (так сказано в постановлении) был исключен из членов Союза писателей, а знаменитая в те времена писательница Галина Николаева пошла еще дальше, заявив, что «этот человек не должен жить на советской земле».

Подобного поворота событий, спущенные из ЦК инструкции не предусматривали, и Поликарпов на слова Николаевой особого внимания не обратил, не понял, что скандал вокруг Пастернака начинает выходить из-под контроля.

Отец тем временем занимался своими делами. 24 декабря долго беседовал с американским обозревателем Уолтером Липманом, затем разговаривал о будущей пятилетке с руководителем Украины Подгорным и главой Свердловской области Кириленко.

25 октября в Москву приехала делегация Польши во главе с Владиславом Гомулкой. Начались непростые переговоры, тоже связанные с будущей пятилеткой и увязкой с ней экономических отношений двух стран. На деловые переговоры наслаивались неизбежные в таких случаях протокольные мероприятия: обед у них, обед у нас в Кремле, посещение Большого театра. И самое главное, отец готовился к назначенному на 12 ноября Пленуму ЦК, ему там предстояло докладывать о будущей семилетке, утверждать тезисы к XXI съезду партии. Так что дел невпроворот. Сам он о Пастернаке не вспоминал, в выступлениях отца о нем нет ни слова. А выступал он неоднократно. Говорил о социалистическом лагере, о

молодежи, о выращивании свеклы, но только не о Пастернаке. Возможно, Липманн задал ему вопрос о новом Нобелевском лауреате, но записи их беседы я не нашел. Возможно, что и Липманн о Пастернаке не спрашивал, не желая портить серьезный разговор о серьезных международных делах.

Сулов, человек осторожный, впрямую в «деле Пастернака» пока не светился, все варилось на уровне Отдела культуры ЦК. После заседания в правлении Союза писателей «план Сулова» сработал. Как ни жалко было Пастернаку Нобелевской премии, а кто бы о ней не пожалел, он предпочел с властями не связываться, как он не связывался с ними ранее. 29 октября Борис Леонидович отправил в Стокгольм телеграмму: «Ввиду того значения, которое приобрела присужденная мне награда в обществе, я вынужден от нее отказаться. Не примите в обиду мой добровольный отказ». Пастернак выполнил предъявленные к нему требования и рассчитывал, что теперь его оставят в покое. Наверное, так бы и получилось, если бы его «дело» замыкалось напрямую на отца. По мнению же Отдела культуры ЦК, требовалось заручиться осуждением Пастернака не только руководством Союза писателей, но и всеми писателями.

Общее собрание писателей назначили на 31 октября 1958 года. Дубовый зал ЦДЛ всех вместить не мог – большой зал еще только проектировали, – и решили арендовать зал Дома кино, благо он тогда размещался рядом, на противоположной стороне улицы Воровского, сейчас Поварской.

Напомню, что в конце октября я сидел на полигоне, газеты доходили до нас с опозданием на пару дней. Во время подготовки ракеты к старту свободное время – понятие умозрительное, мы дневали и ночевали в ангаре, часто спали тут же, на сваленном в углу брезенте, укрывавшем ракету от посторонних глаз во время ее транспортировки от железнодорожной платформы до боевой площадки. Газеты и журналы хранились в офицерской «кают-компании», так называли на нашей площадке кабинет политпросветработы. Офицерам свежую прессу вменялось читать обязательно, а мы, штатские, проглядывали газеты нерегулярно. В начале ноября кто-то обратил мое внимание на короткую заметку на третьей странице «Правды» за 29 октября 1958 года. В ней, за подписью академика Курчатова и еще пары академиков, сообщалось о присуждении Нобелевской премии за открытие в 1934 году и последующее толкование «эффекта Черенкова» трем нашим ученым: самому Павлу Алексеевичу Черенкову, Игорю Евгеньевичу Тамму и Илье Михайловичу Франку. Поясню, что «эффект Черенкова» – это свечение «чистых» жидкостей под воздействием гамма-излучения, позволившее разработать методы регистрации элементарных частиц, в том числе антипротонов. Демонстративно скромное место, отведенное сообщению, подчеркивало, что Нобель для нас не такая уж и награда, у нас имеются свои, куда более значительные Ленинские премии. Не знаю, как сами лауреаты, но мы в Капустином Яру это мнение разделяли. В том же номере газеты, в сопровождении соответствующих комментариев, сообщалось и о присуждении Нобелевской премии Б. Л. Пастернаку. Тогда я на эту заметку не обратил внимания, ее напечатали на последней странице мелким шрифтом. Обнаружил ее я уже много позже, когда, работая над этой книгой, перелистывал старые подшивки «Правды».

Тем временем в Москве готовились к завершению «дела Пастернака», писателям рассылались повестки с припиской внизу, что «явка обязательна». Впрочем, об обязательности явки писали всегда. Писатели, которые действительно не захотели идти, не пришли, их по-серьезному не принуждали, разве что самым значительным из них звонил уже упоминавшийся оргсекретарь Союза писателей Воронков, выслушивал объяснения, и дело с концом.

Заведующий Отделом культуры ЦК Поликарпов скандала не планировал, он исходил из предположения, что послушное большинство, как всегда, последует указаниям свыше, и без специального нажима сверху «рвать Пастернака на части» не захотят, он же такого

нажима не предусматривал, а потому писатели дежурно отсидают положенное время, дежурно проголосуют за подготовленную в недрах его отдела резолюцию и мирно разойдутся.

Еще не отвыкший от «сталинской» дисциплины, Поликарпов не учел ни того, что времена изменились, ни того, что слишком многие из приглашенных жаждали посчитаться с Пастернаком, одни – из давней лично-литературной неприязни, другие – из зависти, пусть к несостоявшемуся, но Нобелевскому лауреату, третьи – чтобы выслужиться. Как водится, выступавших намечали заранее. От желающих «бросить камень в Пастернака» отбоя не было.

Поликарпов бы справился с рвавшимися в бой «своими», но все карты спутали ретивые «комсомольцы». В тот же «роковой» день, 29 октября 1958 года, на юбилейном пленуме молодежной организации, посвященном 40-летию комсомола, ее первый секретарь Семичастный неожиданно для всех обрушился с резкой бранью на Пастернака, сравнил его со свиньей и заявил, что «Пастернак – это внутренний эмигрант, и пусть бы он действительно стал эмигрантом. Я уверен, что и общественность, и правительство никаких препятствий бы ему не чинили...» Доклад Семичастного на следующий день напечатала «Правда», и его слова прозвучали директивой к действию.

Зачем и почему Семичастный потребовал высылки Пастернака за границу, когда скандал пошел на спад и уже после отказа последнего от премии, судить не берусь. О лишении Пастернака гражданства в руководстве страны не заикался даже Суслов. О выступлении Николаевой с таким же требованием Семичастный вряд ли знал, да и не указ она ему. Скорее всего, эта идея в его, комсомольских кругах, как говорится, витала в воздухе, вот он ее, не мудрствуя лукаво, и озвучил.

Впоследствии, в 1989 году, в интервью журналу «Огонек» Семичастный оправдывался, что это не его слова, а их ему продиктовал Хрущев. Вызвал к себе в кабинет и продиктовал. И Семичастный, и его старший товарищ Шелепин, продуманно избрали такой способ защиты: «Моя хата с краю, и я ничего не знаю». Спрашивайте с Хрущева, с Брежнева, а мы лишь исполнители. Валить все на мертвых – тактика не новая, но она часто срабатывает. Сработала она и на этот раз. Версия Семичастного пошла гулять по свету, и никто не попытался ее проверить. Конечно, узнать о чем говорили Хрущев с Семичастным, невозможно, а вот говорили ли они вообще – проверить можно. Опубликован «Журнал учета лиц, принятых Председателем Совета Министров СССР тов. Хрущевым Н. С.», в который секретари скрупулезно заносили всех переступавших порог кабинета отца: его заместителей, его помощников, иностранных гостей и всех прочих. С 20 октября в журнале зафиксированы: вице-президент Египта Амер, американский журналист Липманн с женой, Кириленко с Подгорным, министр финансов Арсений Зверев, наш посол в Китае Павел Юдин, посол Камбоджи у нас Нхик Тьюлонг и многие другие, а вот Семичастного там нет.

Не встречался отец с Семичастным, а значит, и не говорил ему ничего о Пастернаке, он тогда о нем вообще не думал. А если бы думал, то сказал бы все, что хотел, сам. Возможностей высказаться у него имелось предостаточно, отец выступал на уже упомянутом юбилейном Пленуме ЦК Комсомола, говорил о чем угодно, но только не о Пастернаке. Мы знаем, когда Хрущева что-либо интересовало, он не затруднялся отступить от лежавшего перед ним текста.

По моему мнению, а я знал Владимира Ефимовича достаточно хорошо, он сказал, что думал, его мысли не диссонировали с антипастернаковскими настроениями в его комсомольском кругу, а в детали суловско-поликарповской политики он не вникал. Семичастный и позже отличался «решительностью» и в суждениях, и в действиях. В 1967 году, к примеру, по поводу относительно безобидного кинофильма Андрея Кончаловского про Асю Клячину он заявил, что «такое кино мог сделать только агент ЦРУ».

Призыв Семичастного на Пленуме ЦК ВЛКСМ вслед за Первым секретарем подхватили и другие выступавшие. На Поликарпова они впечатления не произвели, за свою жизнь он наслушался и не такого. Он действовал в рамках полученных от Суслова указаний: «Одобрить исключение Пастернака из Союза писателей, желательно единогласно, и тем ограничиться». Поликарпов, как водится, заранее заготовил Постановление будущего собрания писателей и даже отослал его текст в «Литературную газету». Собрание могло затянуться, а газете выходить на следующий день утром.

Однако писатели-недоброжелатели Пастернака восприняли слова Семичастного как сигнал к началу открытой травли образца 1930-х годов. Они жаждали крови.

Итак, 31 октября 1958 года московские писатели собрались на улице Воровского. Стенограмма этого заседания, насколько мне известно, опубликована дважды, в 9-м номере журнала «Горизонт» за 1988 год, а затем в книге «С разных точек зрения. “Доктор Живаго” Бориса Пастернака» (М., Советский писатель, 1990).

Дорого бы дали многие наши литераторы за то, чтобы эта стенограмма исчезла, растворилась, сгорела. Что бы тогда можно было о себе порассказать... Но стенограмма не сгорела. Цитировать я ее не хочу, не моя это задача. Меня же по-прежнему интересует, как выглядело происходившее со стороны, впечатления людей причастных, но не участвовавших, а потому и не нуждавшихся в оправдании.

На Ваншенкина, после происшедшего на заседании Президиума, собрание особого впечатления не произвело. «Через три дня состоялось общее собрание писателей города Москвы на ту же тему, – пишет Ваншенкин. – Председательствовал С. С. Смирнов, руководивший тогда московской писательской организацией. Он вел собрание спокойно, внимательно, порой увлеченно.

Народу пришло – уйма. Те, что присутствовали на предыдущем заседании, были уже сыты этим, болтались по фойе. Дело, по сути, было сделано».

А вот как описывает это, «большое», собрание литературный критик Лазарь Лазарев: «Я не был членом Союза писателей и попал на собрание по долгу службы в “Литературной газете”. Меня вызвал заместитель главного редактора Валерий Алексеевич Косолапов, практически он вел тогда газету, Всеволод Кочетов то ли болел, то ли был в творческом отпуске, и велел мне поехать на собрание. “Скорее всего, – сказал он, – мы ничего, кроме официальной информации, которая будет изготовлена в Союзе писателей и, может быть, даже пойдет через ТАСС, давать не будем”. Но он хотел, чтобы я внимательно выслушал все выступления и рассказал потом ему, как все было».

Лазарев честно выполнил указание, слушал и все записывал: «Тон задал в пространной вступительной речи председательствовавший на собрании Сергей Сергеевич Смирнов. Главным, многократно повторенным словом в речи Смирнова было «предательство», в обличительном раже он даже пустил в ход кровавую формулу «враг народа», после XX съезда как будто бы изъятую из политического лексикона. А дальше пошло-поехало.

Самым омерзительным, самым гнусным, самым политически опасным было выступление Корнелия Зелинского. Он требовал расправы уже не только с Пастернаком, но и с теми, кто высоко оценивал его талант, кто хвалил его, он доносил на филолога Вячеслава Иванова (это тот самый Вячеслав Иванов, которому в самом начале поручили уговорить Пастернака отказаться от премии. – С. Х.) призывал: “Этот лжеакадемик должен быть развешен”».

Как и у Ваншенкина, у Лазарева «сложилось впечатление, что большая часть выступающих “Доктора Живаго” не читали, поэт и драматург Софронов так прямо и сказал, но это не играло никакой роли, ничего не значило – достаточно было того, что роман напечатан за рубежом и получил Нобелевскую премию».

«Но страшнее выступающих был зал – улюлюкающий, истерически-агрессивный, – делится своими ощущениями Лазарев. – Ремарки в стенограмме: шум, смех, реплики – совершенно не передают накала ненависти, жажды расправы, желания растоптать, уничтожить. О собраниях тридцать седьмого года у меня прежде было умозрительное, книжное представление – это было от меня далеко, почувствовать себя внутри того мира я не мог. Здесь я, словно это было со мной, проникся всем ужасом происходившего тогда.

Видимо, на фоне этого шабаша (как иначе это назвать?!) выступление Слуцкого (я о нем скажу ниже) не произвело на меня того впечатления, какое возникло у тех, кто не был на этом собрании. Оно, как и выступление поэта Леонида Мартынова, было осуждающим. Рассказывали, что Евгений Евтушенко (в перерыве) публично вручил ему (Слуцкому), этому приспособленцу, этому иуде, две пятнашки – “тридцать сребреников”.

Добавлю от себя, что последствий для Евтушенко, если он, конечно, так поступил, его театральный жест не имел никаких.

Сейчас, задним числом, многим стыдно, участники тех событий оправдываясь, как и Семичастный, перекалдывают ответственность со своих на чьи-либо плечи. Писатели клянутся: у них просто не оставалось иного выхода, на них давили, угрожали из ЦК. Тут начинаются нюансы, ЦК требовало осудить Пастернака, а вот как и в каких выражениях, зависело от самих выступавших. На кого-то, естественно, давили, но не с самого верха, не из ЦК и даже не из райкома партии, тут старались функционеры Союза писателей. С одними получалось, с другими – нет. Так, поэт-фронтвик уже упомянутый майор Борис Слуцкий заявил, что полученная Пастернаком премия – это «премия против коммунизма. Стыдно носить такое звание человеку, выросшему на нашей земле!» Потом он оправдывал свои слова страхом быть исключенным из партии.

Между двумя этими заявлениями пролегло несколько десятилетий. Где он искренен, а где хитрит? Смею допустить, что он в обоих случаях говорил, что думал, просто времена изменились.

А вот совсем другая история. Тоже поэт, 26-летний Евгений Евтушенко, поклонник таланта Пастернака, в тот же день и в тех же условиях повел себя иначе. Когда секретарь парткома Организации московских писателей Виктор Сытин предложил ему выступить с осуждающей речью от имени молодежи, он, не раздумывая, отказался. Сытин потащил Евтушенко к секретарю Московского комитета комсомола Мосину. Тот выслушал обе стороны и подвел итог: «Товарищ Евтушенко изложил свою точку зрения. Вопрос закрыт».

Получается, Евтушенко не захотел выступить на собрании и не выступал. «От имени молодежи» осудил Пастернака кто-то еще. Слуцкий с Мартыновым приняли иное решение. Такой разнобой мог произойти только при отсутствии четкой команды из ЦК КПСС. Если бы сверху спустили жесткое указание, то товарищ Мосин не посмел бы самостоятельно «закрыть вопрос». Повторю, после телеграммы Пастернака в Стокгольм верха успокоились, а низы организовывали «проработку» по своему собственному разумению. Писатели в какой-то мере действовали и говорили, соизмеряясь со своей позицией. И позиции эти порой отличались диаметрально.

Приведу еще один характерный пример. Партбюро Литературного института жалуется в ЦК на Союз писателей, что те «не дали возможности студенческой делегации выступить 27 октября на заседании президиума правления Союза писателей, где исключали Пастернака, и огласить текст письма осуждавшего его предательские действия». Одновременно они исключили из института, «по требованию общественности», Беллу Ахмадулину, Юнну Мориц и еще нескольких человек, кто «поддерживал связь с Пастернаком, разделял его взгляды».

Правда, для исключенных история закончилась благополучно, по решению Секретариата Союза писателей СССР их восстановили. Партбюро снова пожаловалось Фурцевой,

которая поручила «разобраться и дать предложения». Разобрались и рекомендовали партбюро Литературного института и секретарям Союза писателей к студентам не придирайтесь, «улучшить работу и взаимодействие института и союза».

Начинаешь докапываться, как все происходило на самом деле, и получается, что далеко не все выстраивались по ранжиру.

Однако вернусь к собранию Московских писателей. «Прения» только разгорались, на собрании выступило четырнадцать человек, еще тринадцать ожидали своей очереди, но Поликарпов со Смирновым посчитали, что пора закругляться. Смирнов зачитал полученный из ЦК проект решения и предложил его проголосовать. Но не тут-то было! Текст залу показался недостаточно сильным.

«Наиболее показательным было то, что происходило в конце, во время принятия резолюции, – продолжает делиться своими впечатлениями Лазарев. – В стенограмме эта процедура занимает не так много места, тогда же казалось, что этому не будет конца. Кто-то из дам (больше всего вопили почему-то именно они), кажется, Раиса Азарх, потребовала, чтобы в резолюцию было внесено обращение к Советскому правительству с просьбой лишить Пастернака гражданства».

Критик Лазарев в «Записках пожилого человека» отмечает сам факт, а поэт Ваншенкин воспроизводит этот эпизод в деталях и очень показательных. Вот что он запомнил: «Известная поэтесса, возможно, Раиса Азарх, старенькая, но еще вполне бодрая, востроносенькая, с белыми кудельками, вносила поправку из зала. Смирнов не слышал, переспрашивал.

Она повышала голос: “Там говорится, пускай он будет изгнанником. Но слово «изгнанник» звучит слишком жалостливо, сочувственно. Нужно жестче: пусть он будет изгоем...”».

Оба автора сомневаются, была ли это Азарх. Дмитрий Быков пишет, что высылки Пастернака потребовала не Азарх, а Вера Инбер, тоже поэтесса. Не важно, кто проявил инициативу, важно, что такое требование прозвучало и его поддержало большинство. Смирнов растерялся.

«Этот пункт не был запланирован заранее (я возвращаюсь к тексту Лазарева) Смирнов пытался отстоять первоначальный проект, говоря, что там достаточно ясно выражено отношение к содеянному Пастернаком. Зал, однако, настаивал на своем, ревел, требовал голосования. Несколько раз Смирнов, повернувшись спиной к залу, консультировался с дирижером всего этого действия заведующим Отделом культуры ЦК Поликарповым. Тот, видимо, говорил ему, что не надо этого вносить – из каких соображений, не знаю, может быть, проект резолюции уже одобрили на более высоком уровне. Смирнов опять и опять пытался уговорить зал не настаивать на поправке о высылке, зал же требовал, добивался, вопил. И снова Смирнов вел переговоры с Поликарповым. Продолжалось это бесконечно долго. В конце концов вопящие добились своего, поправку проголосовали и приняли.

– Кто за? Кто против? Кто воздержался? – задавал рутинные вопросы председательствовавший.

За «за» взметнулся лес рук, «против» – осталось без ответа, воздержавшихся тоже не оказалось.

– Принято единогласно, – с облегчением констатировал Смирнов. – Собрание окончено. Прошу расходиться».

Ваншенкину запомнилось, что когда Смирнов произнес «единогласно», «какая-то пожилая женщина закричала из зала: “Неправильно! Не единогласно. Я голосовала против...”»

Сергей Сергеевич сначала сделал вид, что не слышит, но она приблизилась к сцене, и он вынужденно спустился к ней. Она горячо ему что-то втолковывала. Он нагибался к ней, оправдывался.

– Кто это? – спрашивали кругом.

- Аллилуева.
- Писательница?
- Да, реабилитированная. Из той семьи...»

Это была Анна Сергеевна Аллилуева, сестра Надежды Сергеевны. Свояченица Сталина. После тюрьмы, Анна Сергеевна опубликовала книжку воспоминаний, и ее приняли в Союз писателей. Не знаю, учел ли Смирнов ее голос «против» или в протоколе собрания так и осталось «единогласно».

Собрание закончилось, на улице вечерело, и Лазарев поспешил в редакцию. Косолапова больше всего интересовала резолюция.

«Как я понял, проект резолюции уже был в газете, – пишет Лазарев, – его набрали, он стоял в номере, и Косолапову надо было решить, в каком виде резолюцию печатать – ведь высокое начальство было против поправки, может быть, не следует ее воспроизводить, не успели, мол, номер уже был подписан, печатался. То ли размышляя вслух, то ли советуясь со мной, он произнес: “Как же поступить?” Мне вдруг пришло в голову: “Позвоните Фурцевой, она же руководит культурой”. Что он и сделал. Разговор был короткий. Положив трубку, Валерий Алексеевич сказал: “Надо давать с поправкой. «Голоса» уже передали”».

Парадоксально, но факт, если бы не «голоса», то...

С другой стороны, резолюция писательского собрания особого веса не имела, высылать Пастернака за границу никто и не собирался.

Еще пару слов о позиции наиболее известных участников тех событий. Александр Трифонович Твардовский, великий поэт и гражданин, в своих рабочих тетрадях обошел расправу с Пастернаком молчанием.

Его верный соратник Владимир Лакшин в написанных позднее «попутных» добавочках к собственному дневнику отметит, что Александр Трифонович в последствие сокрушался: «Меня Поликарпов обманул», – говорил он не однажды, однако Лакшин «так и не понял, в чем заключался “обман” Поликарпова».

Скорее всего, ни в чем, просто Твардовскому, как и Слуцкому, хотелось отвести вину от себя. И детям председателя собрания Сергея Сергеевича Смирнова – кинодраматургу Андрею и журналисту Константину тоже очень хотелось, чтобы злосчастная стенограмма заседания Московской писательской организации вообще куда-нибудь пропала. И мне бы хотелось, чтобы отец оказался ни при чем. Очень хотелось бы. Но, к сожалению, историю не перепишешь. А может быть – к счастью, ибо на ней учатся, правда, только те, кто способен к этому.

Прошли десятилетия, казалось, страна покончила с прошлым, переменялись названия не только улиц, новое название и у самой страны. К власти пришли новые люди, те, кто, как они говорят, десятилетиями самоутверждался в борьбе с прошлым. И вдруг все вернулось на круги своя. Наверное, не все помнят собрание представителей «либеральной творческой интеллигенции» 1993 года в Бетховенском зале Большого театра. Говорили о политике. Выступавшие истово выкрикивали: «Канделябрами их, канделябрами»... Кого канделябрами? Своих же собратьев-интеллигентов, но мысливших иначе, несогласных с «генеральной линией». Они, вчерашние «вольнодумцы», с гордостью, причислявшие себя к «совести нации», едва попав в фавор к власти, забыли о своих зрителях, слушателях, читателях и почитателях и в один миг из гонимых превратились в гонителей.

Неужели мы ничему не научились? Получается, князь тьмы Воланд прав: времена меняются, а люди остаются все теми же. Но это так, к слову.

Вернемся к событиям осени 1958 года. Узнав о требованиях братьев-писателей, Пастернак не на шутку перепугался, уезжать из страны он не хотел. На следующий день после собрания, 1 ноября, в письме Хрущеву он написал: «Выезд за пределы моей Родины

для меня равносильна смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры».

Пастернак ищет у Хрущева защиты. А «комсомольцы» с писателями продолжают требовать, и с каждым днем все более агрессивно, выдворения Пастернака. Борис Леонидович в отчаянии, ответа на его обращение все нет, ему кажется, что все потеряно, Хрущев – тоже заодно с ними, с Семичастным, с ненавистными ему писателями.

На самом деле письмо просто еще не дошло до адресата. Отправленное в пятницу, 1 ноября, оно сначала попало в канцелярию, оттуда, не ранее 3-го, его переслали на 5-й этаж помощникам отца. В этот день отец вместе с главой польской делегации Гомулкой уехал в Ленинград. Там они продолжали переговоры, выступали на заводах, затем на митинге на Дворцовой площади. В столь плотном графике докладывались только сверхсрочные и сверхважные документы. Письмо Пастернака к таковым не относили. Оно, скорее всего, вообще оставалось в Москве.

Время идет, Пастернак мечется. Не зная, что еще предпринять, он пишет второе, уже открытое письмо в «Правду». Тем временем отец возвращается в Москву. В папке с почтой находит письмо Пастернака и звонит Сулову. Собственно, это первое личное вмешательство Хрущева в «дело Пастернака». Официальная кампания немедленно затихает, а вот неофициальная...

У Пастернака, как мы уже видели, оказалось достаточно врагов среди его собратьев по профессии и утихомириваться они не желали. Пастернак, по его собственным словам, «напрасно ожидал проявления великодушия и снисхождения... и переступил порог этого с самоубийственным настроением и гневом».

Правда, у поэта достаточно и поклонников, восторженных почитателей его таланта. Но пока дело не «прояснилось», издательства не торопятся с новыми публикациями, а это бьет и по карману, и по себялюбию. Проходит месяц, за ним другой, настроение меняется. Если в 1957 году Пастернак написал «Смягчается времен суровость», то на переломе 1958-го и 1959 года звучит безысходное:

Я пропал, как зверь в загоне,  
Где-то люди, воля, свет,  
А за мною шум погони,  
Мне на волю хода нет...  
<...>  
Что ж посмел я намаракать,  
Пастернак я и злодей?  
Я весь мир заставил плакать  
Над красой земли моей.  
Все тесней кольцо облавы,  
И другому я виной —  
Нет руки со мною правой —  
Друга сердца нет со мной.  
Я б хотел с петлей у горла,  
В час, когда так смерть близка,  
Чтобы слезы мне утерла  
Правая моя рука...

По одной версии, Пастернак «по неосторожности» подарил копию этого стихотворения с автографом английскому журналисту Энтони Брауну, по другой – не подарил, а попросил его передать своей почитательнице во Франции Жаклин де Пруайяр. В новом вари-

анте он заменил две последние, обращенные к его давней подруге Ивинской, очень личные строфы о «руке, которая утерла бы поэту слезы», которыми завершалось стихотворение, четверостишьем, имевшим иное, политическое, звучание:

Но и так, почти у гроба,  
Верю я, придет пора —  
Силу подлости и злобы  
Одoleет дух добра.

Браун письмо взял, но вместо того чтобы отдать стихотворение адресату, распорядился полученной копией по-своему.

Версий много, но результат один – стихотворение ушло из рук автора. 11 февраля 1959 года его под «политическим», и я бы сказал, провокационным заголовком «Нобелевская премия», опубликовала консервативная лондонская газета «Дейли мейл». Совсем было сошедший на нет скандал в начале 1959 года разгорелся с новой силой, на сей раз уже с участием отца. В одном из своих выступлений он даже назвал Пастернака «паршивой овцой», заведшейся в советском здоровом стаде. 27 февраля 1959 года на Президиуме ЦК Суслов докладывал «О Пастернаке Б. Л.» Председательствовал отец. Кроме Суслова выступили Микоян, Хрущев, Фурцева, Шелепин и специально приглашенный на заседание Генеральный прокурор СССР Руденко. Ему поручили сделать Пастернаку «предупреждение от прокурора...», пострадать его, чтобы прекратил «враждебную работу».

Руденко не спешил, вызвал к себе Пастернака только 14 марта, тот повинулся в неосторожности и «осудил эти свои действия».

В отчете о беседе Руденко отметил, что «на допросе Пастернак вел себя трусливо. Мне кажется, что он сделает необходимые выводы...»

Ничего удивительного и ничего предосудительного в таком поведении я не нахожу. Пастернак – поэт, а не борец с режимом, к тому же человек по натуре ранимый.

На этом дело Пастернака окончательно закрыли.

Летом 1960 года поэт Борис Леонидович Пастернак умер от рака легких. 1 июля его похоронили на кладбище подмосковного писательского поселка Переделкино.

Хоронила его вся фрондирующая литературная Москва. Его «Доктор Живаго» стал политическим символом эпохи, наряду с «секретным докладом» Хрущева и «Архипелагом ГУЛАГ» Александра Солженицына.